

Культура. — 1994. — 30 апр. — С. 3
Герой астафьевского «Последнего поклона» подростком-беспризорником увел, как он деликатно выразился, из местного клуба красную (президиумную, как со священным ужасом воскликнул другой персонаж) скатерть, графин и балалайку.

Юбилей известного писателя [а Астафьеву — 70] тоже порой побуждает позариться на эти непеременимые аксессуары всяческих торжеств [что до балалайки, так ведь и этот невинный инструмент давно стал символом многословия].

Рискну, однако, даже по столь знаменательному случаю припомнить давнюю, с любовной улыбкой воспроизведенную в том же «Последнем поклоне» поркотню бабушки Катерины Петровны по адресу будущего юбиляра: — «Уж больно зубаст... и неслух! Чуть чего — в топоры с бабушкой! А варначишша! А посказитель! Врать начнет — не переслушаешь! В лес на полдни сходит — неделю врет!

Что ж, он поныне и неслух, и чуть что — в топоры — да не с бабушкой, а с куда более грозными оппонентами, аж с генеральскими звездами, и зубаст. Сам однажды признавал-

Андрей Турков

Гнев и любовь Виктора Астафьева

ся, что «наполнялся черным гневом, будто сырая, худо тянущая труба сажей».

Только зубастость-то эта, непослушность, черный гнев, порой не гнушающийся и черным словом (которое Астафьев, однако, роняет в сердцах, с болью, а не кокетливо тешкается с ним, как некоторые новомодные авторы), — все это рождается у писателя при столкновении со злом, ложью, насилием, несправедливостью и соединяется с жаждой действия, стремлением помочь, выручить, избавить. Тут он весь — в свою критиканшубку. Вспомним, а того лучше перечитаем хотя бы сценку, когда маленький Витька нашкодил и заболел: «Бабушка лупит меня куда попало и в ту же пору готовит компресс с горячей солью или золой, греет молоко», и снова — «хлобысь со всего маху болезного» с причитанием: «Ты че, аспид, думаешь? Ты че, варнак, позволяешь Мати Божья! Царица Небесная! Заступница ты на-

ша, всемиловейшая, помоги этому коммунисту!».

Гнев наваливается на него в войну при виде беспомощных, брошенных в сумятице боя раненых, которых он пытается хотя бы напоить, а позже, когда приходится горько переживать форменное надругательство над природой, которому посвящены многие страницы «Царь-рыбы» («Кто, как искоренит эту давнюю страшную привычку хозяйствовать в лесу, будто в чужом дворе?», или разорение деревни (вот мимолетная картина колхозной осени в «Печальном детективе»: «неряшливое и лохматое жнивье, по которому рассыпью и ворохами рассыпано зерно», «Прела стерня, прел недокошенный хлеб, будто болячки по большому телу пашни гнили кучи соломы, разбросанные комбайнами... трепало до кудели неубранные бабки льна, местами уже уроненные ветром и снесенные речкой в перекааты»). «Черный гнев» одолевает Астафьева и в не-

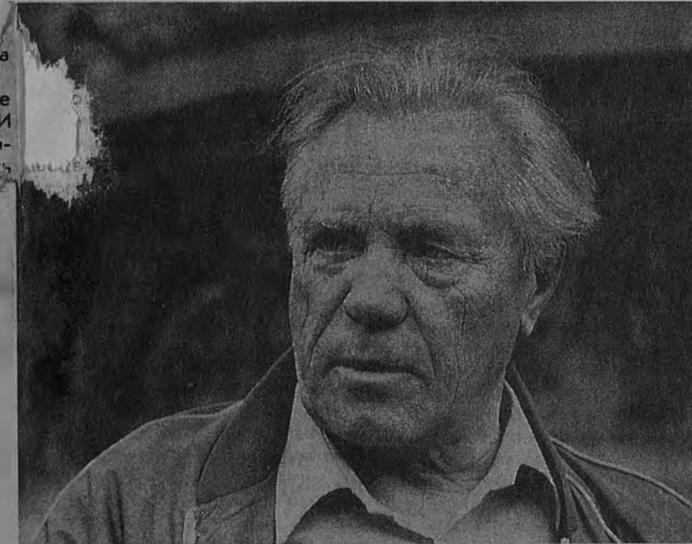
давнем романе «Прокляты и убиты», повествующем о мытарствах солдат в тыловых частях.

Но тот же только что захлебывавшийся, почти задыхавшийся от ярости писатель с мучительной нежностью и неискоряющей благодарностью рисует и Катерину Петровну, которая за жизнь «работы сделала — иной артели впору» (этот образ критики давно и справедливо ставят рядом и с бабушкой из знаменитой автобиографической трилогии Максима Горького), и других сибирских крестьянок с их «надыженными» спинами и трудными судьбами. «Она, — говорит, — например, о тетке Августе, — потянет тяжелый свой воз дальше, одолевая метр за метром многими русскими бабами утопанную вдовью путь-дорогу».

Остро, болезненно реагирующий на нерадивость, лень, нечестность («На том конце города рукавицы укрдут, я на этом краснею»), Ас-

тафьев отдыхает душой, наблюдая и описывая истовость в работе, человеческое мастерство. Подлинные труженики самых скромных профессий видятся ему с детских лет прямо-таки в каком-то священном и одновременно улыбочивом нимбе: «Прыгая, балуясь, как бы заигрывая с дядей Мишей, стружки солнечными зайчиками заскакивали на него, сережками висли на усах, на ушах и даже на дужки очков цеплялись». Или в более строгих, торжественных, почти библейских тонах: «Никаких больше разговоров. Бригада ужинает. Венец всех свершений и забот — вечерняя трапеза, святая, благостная, в тихую радость и во здравие тем она, кто добыл хлеб насыщенный своим трудом и потом».

Редкие по высокому нравственному чувству, их пронизывающему, страницы посвящены писателем и детям. Вот случайно встреченная на пристани и навсегда оставшаяся в памяти со своим детским го-



рем «большеротая, толстопятая девчушка» с глазами «сверного, застенчиво тихого свету». Вот осиротевшая двоюродная сестренка — «ну вылитый ангел! — только заморенный»: «Я дотронулся до беленьких, в косу заплетенных, мягких волос девочки, нашарил основную хвоинку, вытащил ее и, пробежав рукою по затылку, запавшему возле шеи от недоедов, задержался в желобке, чувствуя пальцами слабую детскую кожу, отпотевшую под косой...». А вот уже в «Царь-

рыбе» воробьиная стайка ребятам, кормящаяся возле рыбацкой бригады на Боганиде и исподволь приобщающаяся к труду и строгим артельным правилам...

Не позабыть бы и о том, что так живописно-ворчливо, а в сущности любовно «отрецензировала» Катерина Петровна («В лес на полдни сходит — неделю врет!»), — об упоении Астафьева природой, о его многочисленных пейзажах, о могучем Енисее и каком-нибудь безвестном «карасином»

озерце, о сельском кладбище, где под крестом, на котором порой резвится бурундук, лежит мать (а теперь уже и бабушка), о речном заливишке, который под стать восторженному настроению возвратившегося с войны солдата «ровно бы смеялся от солнечной щечки, лучезарно морщинаясь», — и о припомнившемся по контрасту «клочке берега, без дерев, даже без единого кустика, на глубину лопаты пропитанном кровью, раскрошенном взрывами... где ни еды, ни курева, патроны со счета, где бродят и мрут раненые», или о бескрайней степи, где «качалась одиноким бакенном пирамидка» воинской могилы, через много лет разысканной героиней повести «Пастух и пастушка»...

Нет, трудно, трудно даются в день юбилея поздравительные слова! «Не принято у нас, у дураков, никаких нежностей», — казнил я и сам писатель, пытаюсь передать свои чувства к Катерине Петровне.

Скажу одно: крепко верится, что суждены Виктору Астафьеву еще многие поколения читателей, которые ощутят над страницами его книг, как однажды ему помечталось, «воскресшую... любовь, пронзившую толщу времен».